Амаяк Тер-Абрамянц

Я — тринадцатый!..

Врачебные рассказы

Амаяк Тер-Абрамянц

Я – тринадцатый!..

«Издательские решения»

Тер-Абрамянц А.

Я – тринадцатый!.. / А. Тер-Абрамянц — «Издательские решения»,

Работа молодого врача в провинциальном российском городе на скорой помощи и в реанимации — взгляд изнутри. Мечты и реальность.

© Тер-Абрамянц А.
© Издательские решения

Содержание

Первый писатель 6
Я – тринадцатый!.. 8
Мы поём 14
Афронт 19
Конец ознакомительного фрагмента. 20

Я – тринадцатый!..
Врачебные рассказы
Амаяк Тер-Абрамянц

© Амаяк Тер-Абрамянц, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Первый писатель

– Поедешь в кэпэээ, – сказал дежурный фельдшер, протягивая доктору Аветисову бланк вызова, – ни разу еще не бывал?

– Нет… – Аветисову и в самом деле еще не приходилось посещать камеру предварительного заключения.

– Говорят мошенник какой-то, за писателя себя выдает, скорее всего, симуляция…

– Угу, – невнимательно согласился молодой доктор, читая бланк, где не была указана фамилия, а в графе причина вызова стояло «боли в животе».

Через несколько минут УАЗ уже нес его по улицам Новотрубинска. Неказистый этот город незаметно проглатывал его молодую жизнь день за днем. «И стоило ради этого оканчивать институт в Москве? Столько обогащать и тренировать ум, мечтать?» – не раз он думал с удивлением, взирая на свою вдруг как-то неожиданно опустевшую молодость как бы со стороны. Трудно было, кажется, придумать более скучное место на земле: здесь не было ни моря, ни старинной крепости, ни гор, ни, хотя бы, великой реки – пятиэтажки, заводы, да деревянные одноэтажные окраины… Ни одна гордая старинная башня не смущала унылую горизонтальность его крыш, была колокольня собора да и ту стыдливо заставили еще при Сталине громадным желтым шкафообразным домом. И хотя он прожил в этом городе почти всю жизнь, ни разу не приходилось ему встречать здесь ни одного художника, ни одного писателя. Казалось, люди этих профессий обитают совсем в другом мире, который никогда не пересекается с тем, слишком обыденным, в котором существует он. Из того мира приходили книги, которые он читал запоем. Он испытывал священный трепет, открывая страницы самой пустой и неинтересной книги, ему казалось невероятным, что она написана человеком и более реальным было бы для него не объяснение технологии типографского процесса, но то, что книги рождаются сами собой в некоем идеальном платоновском измерении мира идей и выпадают оттуда время от времени, как дождь из туч. Даже когда учился в Москве, кого только не видел – и негров, и крохотных, похожих на школьников вьетнамцев, а вот живого писателя встретить не привелось! В мире, в котором он жил, книг не писали, здесь ходили на работу на оборонный завод, стояли в очередях за продуктами, ели, спали, пили водку, в нем, кажется, и писать—то было не о чем: день походил на день как две капли воды, год на год… А тут надо же – писатель! А может и не врет?…

Машина проехала новый горком, прозванный в народе «Белым домом», за светлый бетон, из которого он был выстроен. Глаза Аветисова невольно скользнули по ряду портретов членов цэка (пятнадцать, по числу республик), благообразно гладеньких, подрумяненных, весьма отдаленно похожих на тех морщинистых стариков, которых ежедневно демонстрировало стране телевидение, с каноническим портретом Ленина над ними, чудом художественного мастерства сумевшем облагородить чиновничье невыразительную внешность, и почему-то вспомнилась песенка пиратов из «Острова сокровтщ»:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца
Ио-хо-хо, и бутылка рому…

Здание милиции, двухэтажная коробка из серого кирпича, находилось в самом конце Проспекта Революции, угнездившись среди одноэтажных деревянных домиков, многие окна которых обрамляли некрашеные потемневшие от времени, кое-где потрескавшиеся и обломившиеся резные наличники. Их здесь уже ждали. Молоденький белобрысый сержант повел доктора на верхний этаж, и они оказались в длинном казенном коридоре с дверями справа и слева.

– Мы его вывели из камеры, – пояснил сержант, – там народу много, вам будет неудобно работать.

– А что, и вправду писатель?

– Выдает себя за писателя, незнакомые люди, муж и жена, его пожалели и приютили – понравился он им чем-то, три месяца у них прожил, ел, пил за их счет, потом надел их вещи и ушел… – увлеченно докладывал сержант. – Вы только не удивляйтесь, что он босой, туфли у него не свои были, пришлось снять…

Наконец, оказались в большом кабинете. За столом сидел уже другой сержант, толстенький и чернявый, рядом согнулся на стуле пожилой седовласый человек в красной ковбойке, голубых кальсонах и белых шерстяных носках, тут же на подоконнике стояли хорошие, судя по всему импортные, светлые туфли.

– А положить его где? – спросил Аветисов милиционеров.

– Класть у нас негде, – пожал плечами толстенький сержант.

Пришлось смотреть человека в положении сидя и стоя.

– Это у меня язва, – сказал пациент, отрыгнув.

Несмотря на нелепый вид и обстановку и то, что он морщился, держась за живот, было в нем, безусловно, что-то величавое – высок, седая грива несколько растрепанных волос забрана назад, лицо хоть и красное (О, Бахус, Бахус!), но благообразно львиное с крупными чертами, морщины его не портили, даже подчеркивали эту благообразность, черные глаза из под кустистых бровей смотрели куда-то в угол.

На симуляцию, однако, все это как-то не походило, скорее всего и вправду у него разыгралась язва.

– А в больницу его нельзя? – спросил Аветисов.

– Нельзя, – ухмылялись милиционеры.

Аветисов сделал обезболивающий укол.

– Спасибо, доктор, – сказал, поморщившись, пациент.

– Ваша фамилия? – спросил Аветисов, заполоняя бланк вызова.

– Углев… я писатель… – голос у седого был гибкий, глубокий, теперь он уже не морщился, но все так же упорно смотрел в угол. Сержанты саркастически улыбались.

– Ну и что же вы написали? – недоверчиво спросил доктор.

– «Юг в огне», это о гражданской войне…

Аветисов кивнул. Книжные магазины были завалены литературой такого рода, которую редко кто брал, ему показалось даже, что возможно где-то он и видел это название и эту фамилию.

Вот так и живет, – тараторил провожая его белобрысый сержант, – войдёт в доверие, поживет у кого-нибудь несколько месяцев, а потом одевает чужое, берет деньги и переезжает в другой город, других дурить. А тут пожилую пару обокрал…

Много позже Аветисов переехал в столицу, где ему пришлось не раз встречаться с писателями, которые писали и печатались, издавали книги, имели членский билет союза писателей, ходили пить водку в ЦДЛ, но в своем большинстве они чем-то неуловимо напоминали ему Углева, возможно, своим беззаботным стрекозиным порханьем, всеядностью, всегда чутко, как никакое другое племя, чувствующие сладкий запах «халявы», презирающие рутинный ежедневный труд и верность, и в последовательном их появлении, Углев навсегда остался им как бы родоначальником, пусть даже он и взял название чужой книги и имя, как те туфли, которые стояли на подоконнике.

Я – тринадцатый!..

Раньше на дежурстве он часто думал о ночи, он думал о ней как о каком-то загадочном живом существе. Но это было тогда, когда он только еще начинал работать на скорой. Теперь привык, и она все чаще казалась ему длинным стоячим болотом, которое предстояло пройти от зари до зари. Что он продолжал еще любить – так это рассвет, который сулил конец дежурства и близкий отдых, друзей, холсты и масляные краски.

Но до рассвета теперь еще ох как далеко. В нагрудном кармане халата Романцева бланк с вызовом, Водитель, угрюмый гигант Ваня, выжимает из двигателя рафа все, что можно, а сзади, в салоне, примостилась Ниночка, новый фельдшер. Врач Валентин Романцев и они – вот и вся тринадцатая бригада.

Валентин любил дальние вызовы. В дороге исчезали сами собой нудные и скучные мысли, появлялись новые – легкие и недолговечные. Этот вызов не был особенно дальним: предстояло проехать в залинейную часть города, но все равно оставалось время на то, чтобы как-то отрешиться и подумать о чем-то своем.

Улицы становятся вертикальными, бегут навстречу огни фонарей, и Романцеву они кажутся двумя струями серебристых пузырьков, выстреливающими из ноздрей Левиафана, залегшего где-то в темных глубинах ночи, в которой затонул город. «И мы падаем в глубину, словно батисфера Пикара» – подумал он. Он почувствовал себя избранным, исследователем этих глубин, которые имели своих обитателей – бледных, с расширенными испугом глазами.

Редко какое окно светится, на шоссе – пусто: средних размеров провинциальный советско-русский город спит, сотни тысяч людей забылись в мохнатых лапах сна. И, словно врываясь из другого мира, по объятым тишиной улицам оголтело мчится раф.

Романцев думал – что такое сон? – Он отнимает разум, во сне человек и зверь одинаковы, первобытная, древняя тревога совсем близко, оно рядом, дышит в затылок, рождая кошмары, сквозь мутную пелену которых где-то внезапно прорывается алая звезда боли. Сейчас сигнал поступил из залинейной отдаленной части города. В бланке вызова указаны фамилия и имя: Филиппова Анастасия, обозначен возраст – семьдесят лет и жалобы – боли в сердце.

У железнодорожного переезда Иван затормозил:

– Ах, ты, б…! – выругался: шлагбаум закрыли, теперь жди, пока поезд пройдет.

Впереди несколько автомашин. Иван обходит их и по белой полосе и рафик оказывается почти у самого полотна, на другой стороне которого виднеется будка со светящимся окошком.

– Ну, теперь жди не меньше получаса! – вздыхает Иван. – Этот переезд полжизни у меня отнял, хоть бы мост построили какой-нибудь…

Идут минуты, а поезда все нет. Прохладный ветерок проникает в кабину и дует в затылок. Ниночка думает о вызове, однако то, что они задерживаются не очень волнует ее: «Семьдесят лет, „божий одуванчик“, – зачем уже жить, я так сама больше пятидесяти не хочу. Ничего, подождет…» Ниночка почти вся словно состояла из острых углов, может быть потому, что происходила из неблагополучной семьи: отец пил, а матери, работающей по сменам в цехе машиносторительного завода, почти не бывало дома вечерами. Однако, восемнадцать лет – возраст самоутверждения, пусть даже если оно вершится на голом месте, и Ниночку периодически «заносило»: она могла внезапно нагрубить или неожиданно быть нелепо упрямой. Она и сама, замирая от страха, периодически чувствовала, что ее заносит «не в ту степь», но никогда не оглядывалась, не останавливалась, только сжимала зубы, как человек прыгающий в омут, она считала, что так и нужно, мысль о том, что можно как-то по другому, просто не приходила ей в голову. «У меня характер!» – твердила себе Ниночка. Если же ее останавливали, одергивали, делая замечание или указывали на явные противоречия самой себе для ее же пользы, дело могло кончится слезами, истерикой и долгой обидой на того человека, кто это себе позволил.

Искоса она поглядывает на доктора и вспоминает то, что слышала о нем в диспетчерской: два года назад закончил институт, еще не женат…

Молодой доктор еще не делал ей замечаний, это было только их второе совместное дежурство, однако, он и не пытался разговориться с ней, пошутить, как это бывало делали более старшие, что само по себе уже можно было бы рассматривать, как ухаживание, и было бы приятно, поэтому Ниночка не могла ничего определенного сказать о нем: хороший ли он по ее мнению человек или не очень. Он предпочитал все больше молчать, думая о своем, и из этого она заключила, что он человек «строгий». «Ну и что с того, что доктор? – думала она, – мой Сеня не хуже!» Мысль о Сене была приятна, ведь у него все чуть ли не «всерьез», а она – гордая и сначала точно откажется, когда он предложит. Ведь кто он, а кто она для него? Ведь пока он там сладко спит, она сейчас едет спасать кому-то жизнь! Пускай он денег зарабатывает больше, «колымит» где-то, так мужик и должен, чтоб семью содержать, а у нее дело благородное!

– Ох, пол жизни у меня этот переезд отнял! – вздыхает снова шофер. Он не выносит бездействия: накатывалается пустота и сжимает душу.

– Южное направление, – откликается Романцев, – движение очень интенсивное.

О вызове он сейчас почти не думает. Раньше, еще только тогда, когда начинал работать, волновался в пути: что же там? – С приобретением некоторой практики, появилось что-то вроде фатализма, позволяющего сохранять в спокойствии нервы до тех пор, пока они потребуются: будет то, что будет, все, что смогу от себя – сделаю, а там поглядим, главное, чтобы твоя совесть была чиста и не натворить лишнего: зуд в руках у медика явление, пожалуй, самое страшное, и это он уже в себе преодолел.

Наконец, блеснув пунктиром светящихся окон, простучал скорый пассажирский, но шлагбаум так и не поднялся: видимо, ожидался еще один состав.

«Куда-нибудь на юг торопится, к морю», – думает врач об ушедшем поезде, чувствуя, как тяжелеют веки. Он вспомнил синее блистающее море таким, каким его видел в конце последнего отпуска из окна вагона.

Он уезжал из города, осажденного буйством вечнозеленой тропической природы, осажденного магнолиями, пальмами олеандрами, мандариновыми и бамбуковыми рощами, непроходимыми зарослями, оплетенными лианами, бананами, кустаринками чайных плантаций, юкками и агавами. Зелень от обилия южного тепла и влаги там была тяжелой, неподвижной, почти до черноты темной. Жизнь бродила повсюду и даже каменные ступени, по которым ходили к пляжу, были зеленоватыми от какого-то мха, прорастающего за одну ночь. И еще его поразили огромные высокие деревья без коры, с высоченными белыми, словно ободранными, стволами – эвкалипты! И только от одной мысли, что предстояло ехать в стылую, дождливую северную осень, что-то съеживалось в нем, как под холодным ветром. А в окно вагона вливались солнечные потоки. Проплыли шпили бывшей английской церкви (короткое время город принадлежал «владычице морей» и это было, пожалуй, все то, что смог оставить на этих берегах туманный Альбион так возлюбивший тропические края) проплыли двухэтажные домики с крытыми верандами, мелькнули мачты и красные полосы на трубах кораблей в порту. И ни одна чайка не полетела вслед за ними, за поездом. «Прощай Батум! – подумал он, – поистине фантастична та природа, которая может искупить твой ненавязчивый сервис!» В голове не было сюжетов, на душе не было мотивов и всего его охватило ощущение какой-то обманчивости и промежуточности существования. Вот прошел еще год жизни. Ну, а дальше что, то же самое?… Жизнь от дежурства к дежурству, от отпуска до отпуска – и так до пенсии? Может все же попробовать вернуться в науку? В институте говорили, что у него «научный склад ума». Посещал кружок генетики… По окончании встал вопрос о распределении. Друзья советовали: женись на какой-нибудь москвичке и получишь прописку, без которой в Москве не зацепишься. Он только усмехнулся – уж лучше тогда отработать сначала по распределению положенные два года.

Так он и попал обратно в родной подмосковный город. После года работы его обещали свести с одним профессором, имеющим большой вес в научном мире. «Светило» его обласкал и обещал поддержку. Он только что вернулся из зарубежной командировки и был в хорошем настроении. Романцев даже сходил на одну из его лекций. Лекция была посвящена наследственным заболеваниям и, в частности, гаргоилизму. Светило не спеша прохаживался туда и сюда по сцене аудитории, поблескивая золотой оправой очков, у него был ровный, хорошо поставленный голос, он блистал эрудицией и получал от этого колоссальное удовольствие: речь его изобиловала цитатами из Библии, Корана и Талмуда. Всю же суть лекции можно было изложить за десять-пятнадцать минут. В заключение профессор сказал, лукаво блеснув очками на публику: «Кто был в Париже, тот видел химер на соборе Парижской Богоматери, так вот, если вы заметили, эти химеры напоминают наших больных». Публика пристыженно молчала – за железным занавесом, в Париже, кроме него, никто не был (для подавляющего большинства это было равносильно полету на Луну).

«Да, надо будет к нему зайти еще раз,» – подумал Романцев после лекции, но почему-то не зашел ни в тот день, ни на следующий, ни потом.

Наконец, слева по полотну показалось пятно прожектора. Оно медленно приближалось. Прошел тепловоз и бесконечной чередой, словно с того света, поплыли за ним, погромыхивая, черные силуэты высоких товарных вагонов, цистерн, вагонеток с зачехленными грузовиками. Товарняк был длинный и, казалось, ему не будет конца.

Но вот прошла последняя вагонетка. Водитель чуть напрягся, но шлагбаум так и не шелохнулся.

– Ах ты, б…, – говорит Ваня тоскливо, – теперь встречный идет… – он впивается глазами в будку на другой стороне, словно что-то выпытывая. Иногда из нее появляется дежурная и дает добро на проезд «медицине».

– Мигалку включи? – советует врач.

– Не работает, проводка сгорела на хрен.

Полотно пустынно, но наконец, и на этот раз, случается «маленькое чудо». Из будки выбегает здоровенная бабища с лицом обмотанным платком, ее оранжевая куртка выделяется даже в темноте. Она размахивает руками, как мельница крыльями, показывая, что скорая может проезжать. Водитель жмет на газ, дергает рычаги, и раф, урча, по встречной полосе, объезжает шлагбаум, успешно пересекая полотно.

И снова шоссе, ремнем выхлестывает из под колес.

Минут через десять, поднявшись на третий этаж хрущевки, Романцев нажимает на кнопку звонка. Они с Ниночкой заходят в квартиру. Яркий свет, включенный во всех комнатах с темноты режет глаза. Пожилая полная женщина в расстеганном халате сидит за столом, вцепившись руками в колени, с синими губами, выкатив глаза – не дышит, а только пытается – натужно, со свистом, хрипя так, что слышно с порога.

– Э-э, да тут астма? – говорит не то утверждая, не то спрашивая Романцев, – а написали – сердце.

– Да у меня и с сердцем тоже… – шепчет женщина между приступами, на ее побагровевшем лице появляется какое-то подобие улыбки.

В дверях соседней комнаты стоит подросток лет семнадцати, видимо ее сын, с совершенно растерянным видом, приоткрыв рот, обнаженный до пестрых трусов, напоминая юного Апполона. В комнате за его спиной виден вывешенный на стене кусок материала с коллекцией значков. Откуда-то появляется сухонькая морщинистая старушка, она беззвучно что-то шепчет. В углу комнаты ютится потемневшая иконка Богоматери с Христом.

– Однако кто же здесь Филиппова Анастасия? – спрашивает Романцев и старушка показывает пальцем себе на грудь: – Я, я вызывала, для дочери…

– Понятно, – кивает головой Романцев, – ошибочка вышла – Филиппова Анастасия здравствует. Ну что ж, начнем. Эуфиллин! – бодро командует он и только затем, чтобы утвердиться в диагнозе, производит короткий опрос и осмотр.

При виде юного Апполона фельдшер Ниночка начинает медленно и все ярче рдеть.

«И чего стоит голый при незнакомой девушке? – гневно закипая думала, взламывая длинную ампулу и набирая большой шприц, – никакого воспитания и еще пялится, как дурак! Может он думает, что если „скорая“, так все можно? А доктор тоже хорош, только делает вид, что не замечает!»

Апполон завороженно смотрел на ее манипуляции: как засасывается поршнем в шприц прозрачное лекарство, как прыскает из жала иглы тоненькая струйка.

– Вены плохие у меня, – шепчет женщина.

– Ничего, ничего, – успокаивает врач, – сейчас поищем.

– Между прочим, могли бы и одеться, здесь женщины! – выпаливает Ниночка в адрес Апполона, подавая врачу шприц.

Юноша еще больше теряется и исчезает в соседней комнате. Он готов тут же исполнить все, что только от него потребуют.

Романцев мельком бросает удивленный взгляд на фельдшера, но в следующий момент только усмехается и принимается искать вену.

– Еще поработайте кулаком, – говорит и вкалывает иглу… как будто бы попал…! – оттягивает поршень на себя… В шприце появляется красный грибок, как клубящийся маленький ядерный взрыв, который затем расползается красной мутью.

– «Попал!!» – ликует Романцев. – Разожмите руку, – и медленно начинает вводить раствор…

Дыханье больной по мере введения лекарства становится все реже и глубже, хрипы исчезают… наконец, она делает несколько облегченных глубоких вздохов, лицо на глазах приобретает нормальный цвет.

– Ну как? – спрашивает Романцев.

– Отпустило! – кивает она устало головой, – спасибо вам.

Фельдшер Ниночка вдруг подобрела. Она стоит гордая, подбоченясь, на круглых щечках горит румянец. – Вот какие мы! – словно говорит весь ее вид.

– Много наверное вызовов у вас? Совсем не спите? – спрашивает женщина, словно извиняясь, пытаясь сочувствием выразить свою благодарность.

– Всякое бывает! – отвечает с готовностью Ниночка, чуть не притопнув ножкой от удовольствия.

Романце тоже доволен, берет ящик с медикаментами и они направляются к выходу.

– Спасибо, сынок, – прошептала старушка, украдкой осеняя их крестным зеамением, – ужо я помолюсь за тебя, ужо помолюсь.

Романцев бросил ревнивый взгляд на икону.

– Бога нет, бабуля, есть эуфиллин! – важно заявил и тут же почувствовал, как глупо и напыщенно это прозвучало.

Когда ехали вниз на лифте, вдруг вспомнил свои последние слова и расхохотался: «Ну каким же все-таки и идитом бываешь, – подумал, – к Богу приревновать! На бабулю обиделся видите ли, что перед тобой на колени не бухнулась?»

– Вы что, Валентин Александрович? – на него удивленно смотрела Ниночка: странный этот доктор – то молчит, то не поймешь от чего смеется.

– Э-эта, здорово ты его того, – задыхался от смеха Романцев, – срезала того парня-то. Он потом одетый оттуда выглядывал.

Ниночка победительно заулыбалась:

– Нечего баловать, а то если скорая, значит все можно!

Оказавшись в кабине, Романцев снял трубку рации. Раздался пронзительный свист и треск помех.

– Закат, Закат, я тринадцатый, как слышите, прием! – почти прокричал, нажимая на кнопку: надо было выяснить у Центра, есть ли еще в этом районе вызовы.

Наконец, сквозь чехарду в эфире раздался еле слышный женский голос:

– Тринадцатый, я Закат, слышу вас нормально… В ваш район только что поступил еще одни вызов, как слышите? Прием…

В диспетчерской сегодня дежурила Валечка, маленькая миловидная блондинка и Валентин подумал, насколько они разные по характеру с Ниночкой. Валя была необыкновенно мягким и добрым человеком, хотя ее семья была не более благополучна, чем у Ниночки. Вот и пойми отчего люди такие разные: скорей всего ни на что в жизни нет однозначного ответа, той простоты, на которую так часто жаждет расчленить ее человек.

– Слышу нормально, диктуйте, прием… – он достал карандаш и, подвинул край газеты, лежащей на теплом двигателе.

– Рощинская тридцать три, – снова послышалось в рации, – на улице в самом конце умирает человек, лежит прямо на дороге, как поняли, прием…

– Вас понял, сейчас выезжаем, – ответил врач и положил трубку.

– Рощинская 33, говорят умирает на дороге, – обернулся к шоферу, тон был полувопросительный.

Не говоря ни слова, водитель завел двигатель. Машина рванулась и помчалась по пустынной улице.

Они подъехали к концу Рощинской. Дом 33 был последним – частный одноэтажный, окруженный глухим забором, с погашенными окнами – за ним было поле, дальше темнел лес, а слева от дороги – стена соснового бора. Никто их не встречал.

– Ложный вызов, – резюмировал водитель.

– А может, уже проезжала какая-нибудь попутка и захватила в больницу, – предположил Романцев.

– Пьяный небось, вот и все! – буркнул недовольно Ваня.

– А, может быть, тут и не нас надо было вызывать, а милицию! – вдруг неожиданно понизив голос предположила Ниночка.

Водитель хмыкнул.

– Ну, что, поехали?…

– Ой! – воскликнула вдруг испуганно Ниночка, показывая рукой в сторону бора – там кто-то, кажется, лежит, может он прошел и там упал?

– Ну-ка, посвети искателем, – тронул Романцев водителя.

Луч света медленно заскользил по блестящим от сырости колоннам сосен и серой паутине кустарника.

– Да, ничего там не видно, одни кусты, – сказал Ваня.

– Ну-ка дай-ка я прогуляюсь, – Романцев открыл дверь, ему хотелось размять затекшие ноги. – А ты посвети мне.

Он вошел в лес, влажные лапы кустарника мягко проскальзывали по его выставленным перед глазами рукам. Почва покрытая иглами бесшумно пружинила под ногами. Пройдя шагов пятнадцать вглубь, он остановился. Машины отсюда уже не было видно, только какие-то полосы света между стволами, как отблеск далекого костра. Казалось, что он очень далеко отошел от дороги. Впереди такая сплошная серая, насыщенная тьма, что мнилось, ее можно было потрогать. Он вытянул руку вперед и не увидел собственных пальцев. Постоял так минул пять, глубоко с наслаждением вдыхая влажный хвойный мрак, приятный после пропахшей бензином кабины. В вышине шумели невидимые кроны сосен. Весь остальной мир вдруг показался

отсюда таким далеким, даже оставленная машина с шофером и фельдшером, как будто перестала иметь к нему отношение, как будто там ждали не его, а какого-то другого человека.«А что если не вернуться?» – мелькнула дикая ребяческая мысль. Он вдруг почувствовал эту бархатную непроницаемую тьму своей сущностью. Она вливалась в пальцы, плечи, сердце… Он был сейчас ее глазами и ушами, ее обонянием. У него не было имени, легкое мускульное напряжение охватило все тело, движения стали мягкими, ловкими и гибкими. И что там за свет за стволами было непонятно. Кто там, враги или друзья? Их надо выследить тихо, бесшумно, крадучись…

Ниночка вдруг забеспокоилась, открыла дверь, вглядываясь в темноту бора. Доктора все не было. На миг в световом пятне искателя вдруг возникла какая-то большущая собака с опущенным хвостом и, оскалившись на свет, шарахнулась в подлесок.

– Валентин Александрович, Валентин Александрович! – позвала Ниночка, холодея, – А-у-у!…

Мы поём
(быль)

Было около восьми утра, и доктор Спиркин, молодой человек лет тридцати, как всегда радовался, что дежурство подходит к концу. «РАФ», на котором он возвращался с вызова, вкатил на территорию станции скорой помощи и остановился. Спиркин соскочил с подножки машины и прошел в диспетчерскую. Судя по заполненному фишками табло, почти все бригады тоже возвратились с вызовов. Сдав ящик с медикаментами, Спиркин направился во врачебную комнату.

В этот час здесь, как всегда, стояло веселое возбуждение. Одни доктора сворачивали одеяла на топчанах и собирали сумки, другие тут же располагались. Перебрасывались новостями, шутили. Новая смена появлялась свежая, умытая, выбритая, принося бодрящие запахи пудры и одеколона, закончившие вахту предвкушали близкий заслуженный отдых, снисходительно посматривали на прибывших, чувствуя себя еще на одно дежурство мудрее, качали головами, повторяя многозначительно и загадочно: «Ну и ночка была!»

Однако сегодня во всем этом возбуждении чувствовалось что-то тревожное.

– Слышал, что директриса наша учудила? – спросил встретившийся в дверях Спиркину доктор Лисниченко – Репетиция собирается.

– Какая еще репетиция, когда? – не понял сразу Спиркин

– Да хора нашего скоропомощного. Никто же ходить на него не хочет, так она репетицию решила на пересменке устроить, чтобы народу заловить побольше.

– Да вы что, с ума спятили, восемь утра! У меня рабочий день закончился, – взорвался Спиркин, неожиданно почувствовав, как хорошее настроение дало трещину.

– Это ты ей объясни, – сказал Лисниченко, угрюмо усмехаясь, – за художественную самодеятельность самые большие очки дают, соцсоревнование ведь между коллективами, а скоро подведение итогов. Надо удержать переходящее знамя.

– Какая еще репетиция? – закричала доктор Трещеткина, худая с неукротимо горящими глазами женщина. – Мне ребенка надо кашей кормить, мужа отправлять на смену, в цех, да имела я в виду… я – пролетарий медицины!

«Надо бежать, пока не поздно», – пронеслось в сознании Спиркина, и он бросился к топчану, на котором стоял его портфель. Он помнил, что Анфиса Петровна, начальница отделения скорой помощи, не раз игриво заводила с ним разговор об участии в хоре, а однажды вызвала к себе и поставила вопрос ребром.

– Учтите, ведь я вам иду навстречу, когда составляю график дежурств и отпусков, – сказала она ему, и он, кажется, даже почти согласился, чтобы не портить отношений с начальством, надеясь как-нибудь, по ходу дела, открутиться. Однако молодой доктор опоздал.

В комнату один за одним, с растерянным видом, нехотя, будто кто-то их гнал сзади, входили фельдшера.

– Товарищи, товарищи! – закричала появившаяся в дверях круглолицая директриса, закрыв их своим полным телом. – Никому не расходиться, будем репетировать. Петр Иванович сделал нам такую любезность и уже приехал!

Возмущенный рев был ей ответом.

«Эх, опоздал! – подумал Спиркин. – Теперь не выпустит, не драться же с ней!»

Однако директриса не растерялась (подобную разъяснительную беседу она провела с большинством) и, подняв пухлые руки, махнула ими, как дирижер.

– Товарищи, не волноваться, вы должны понять.

– У меня ребенок голодный дома, – крикнула Трещеткина.

– Мы устали, – жалобно протянула доктор Вернигора, симпатичная хрупкая девушка, работающая первый год после института.

– Что ж, доктора Трещеткину мы отпустим раньше всех, если у коллектива не будет возражений, а от вас Вернигора, мне просто удивительно слышать такое, да в ваши годы я дежурила по два дежурства подряд и потом еще на свидание бегала!

Откуда-то из-под мышки директрисы вынырнул Петр Иванович, который был на голову ниже ее, худрук районного Дома культуры. Баяном он уже заранее вооружился в директорской комнате. Несмотря на почти сорокалетний возраст, лицо у него было как у ребенка – безвольное, гладкое, без единой морщинки, только красное, будто из печки, глаза – светло-голубые, выпитые. Не теряя времени, обходя докторов, он прошел вперед, сел посреди комнаты на стул и, поправив ремень на плече, круто развернулся к двери. Операция оцепления закончилась.

В это время за спиной Анфисы Петровны показалось полное лицо в роговых очках. Она оглянулась.

– А-а, доктор Веточкин, – радостно запела директриса, как будто случилось какое-то необыкновенное событие, – а мы вас ждем, пожалуйста, проходите! – и вежливо уступила дорогу.

– Меня? – удивился Веточкин, пожилой упитанный холостяк, он уже давно забыл, где бы его могли ждать, кроме вызова, и лихорадочно стал вспоминать, не мог ли пропустить по рассеянности собственный день рождения. В руках доктор нес свой обычный портфель, не менее десяти килограммов весом, с запасом еды на сутки.

– Да, вас, именно вас, – рассмеялась начальница чистым звонким смехом, удивительным для такого грузного тела.

Веточкин вошел, недоуменно улыбаясь, однако уже догадавшись по вспыхнувшему ехидному смеху, что угодил в какую-то ловушку.

– А мы сегодня поем, у нас хор, – объявила ему директриса торжественно, будто сообщила, что его награждают значком «Отличник здравоохранения».

– Вот как? – сказал врач в тон общей атмосфере розыгрыша, поставив свой кожаный, похожий на желтого борова портфель, и усаживаясь. – Это просто замечательно, и что же мы сегодня репетируем?

– Петр Иванович, что у нас сегодня в программе? – спросила Анфиса Петровна.

– То, что было в прошлый раз: «По Дону гуляет казак молодой» и еще парочку вещей, если успеем.

– Не успеем, не успеем, – закричали врачи.

– Тихо, тихо, – задирижировала снова директриса, а Петр Иванович взял бодрый аккорд, перекрывая звуки возмущения.

– Как петь, – робко заметил Спиркин, – ведь по селектору вызова не услышишь?

Однако слова его остались без внимания.

– Петр Иванович, начинайте, – скомандовала директриса и присела у входа, – я с вами тоже попою, не понимаю тех людей, которые не любят песни: когда поешь, чувствуешь себя такой молодой!

Около тридцати белых халатов сидели на стульях и топчанах и смотрели на Петра Ивановича, берущего перебор и притопывающего ножкой для ритма. У многих после бессонной ночи под глазами темнели круги и, глядя на мэтра, медики по-совиному моргали. Однако среди присутствующих находился все же один искренний энтузиаст. Это был доктор Сидоркин, большой почитатель Шаляпина, обладатель протодиаконского баса, от которого начинали мигать лампочки в помещении и которым он, при случае, любил воспользоваться. Репетиции всегда доставляли ему искреннее удовольствие.

– Ну, начали, три-четыре! – объявил Петр Иванович и нажал на клавиши.

– По До-о-ону гуляет, по До-о-ону гуляет… – вяло заголосили тридцать халатов.

– Э, нет, стоп-стоп-стоп, – прервал Петруша, – так не пойдет, вы что, на похороны собрались? Надо пободрее. Ну, еще раз, я буду помогать, ну, попробуем, три-четыре!

– По До-о-ону гуляет… – запели вначале тихо доктора, и Петя в самом деле активно помогал им, округляя и вытягивая губы, словно дул на кипяток, боясь обжечься, – …по До-о-ону гуляет… – прозвучало уже на ступень выше и как бы с вызовом, Петя подбадривающе кивнул головой, тряхнув мальчишеским русым чубчиком, мол так, давай-давай… – по До-о-ону гуляет… – здесь звуки делали какой-то особый перебор, изобретенный Петрушей, – … казак молодой! – уже довольно уверенно, даже чуть-чуть презрительно, закончили музыкальную фразу выездные бригады.

– Стоп-стоп-стоп, – закричал Петя, – опять вы акаете: не ма-ла-дой, а мо-ло-дой, не пА Дону, а пО Дону – что-то среднее между «а» и «о», для этого надо округлить рот, понятно? Вот посмотрите.

– …По До-о-ону гуляет казак мо-ло-дой, – пропел он задушевно, идиотически дуя на кипяток.

Спиркин смотрел на белые спины впереди и думал – не спит ли он и не следует ли незаметно прикусить себе губу, однако, все вокруг – и доктора, и Петр Иванович, и зеленые стены, и местами выбитая плитка пола, и складки на халате, было настолько убедительным, что как тень растворилось закравшееся сомнение в реальности происходящего.

У Вернигоры был такой вид, как будто у нее болел зуб, у полной шестидесятилетней Анны Афанасьевны, матери большого семейства, на лице было написано обычное выстраданное смирение, Веточкин ухмылялся как-то по-особенному – одними глазами из-за невозмутимых роговых очков, Лисниченко выглядел так, словно потерял близкого родственника, доктор Сидоркин сидел важно и сосредоточенно слушал, что еще изречет мэтр, фельдшер Боборыкин смотрел на мэтра, не иначе как замышляя убийство.

Однако репетиция шла своим ходом, доктора и фельдшера довольно успешно справились с первым куплетом и перешли дальше. Они в песне спросили, о чем же плакала дева над быстрой рекой, и сами же ответили на этот вопрос – мол, цыганка не нагадала ей ничего хорошего.

Одним словом, песня лилась, а песню прозой не передашь, ее слышать надо.

Вечная тема любви, выраженная в песне, кажется больше всего коснулась женщин коллектива, каждая вкладывала в нее долю своей мечты и страдания: у Вернигоры прошел зуб, она задумалась вдруг о том, когда же, наконец, явится ее суженый, и чувство подсказывало ей, что скоро, скоро, и было почему-то как-то сладко, жутко и страшно расставаться со своим девичеством, Анна Афанасьевна вся ушла с головой в свою судьбу – в душу неслышно входил тот, единственно любимый и потерянный навсегда, о котором она не хотела часто вспоминать, но и забыть не могла уже сорок лет, и бабья тоска одолевала. Каждая была сама в себе, и губы двигались сами собой. «О че-о-ом дева плачет? О че-о-ом дева плачет?..»

Спиркин пел, пел и неожиданно начал чувствовать прилив новых сил. Он чувствовал, как сникшие за дежурство легкие расправляются, утомленная грудь расширяется, кровь бежит быстрее, дышится легче и глубже. С каждой минутой голос все более креп и рос (дело в том, что в жизни ему петь как-то не приходилось, не считая уроков пения в детстве, а тут, впервые, Спиркин обнаружил его силу). Из обычного тенора он на глазах превращался в бас, все более упругий и плотный. Спиркин пробовал свой голос еще и еще, все смелее, и бас его догонял и мчался наперерез мощному гласу Сидоркина. «А ну я ему покажу, кто из нас Шаляпин!» – подумал азартно Спиркин, опьяненный внезапно открытым в себе вокальным могуществом, мгновениями ему казалось – еще усилие и распахнутся двери врачебной комнаты, двери подстанции и освобожденный звук рекою покатится по улицам родного городка, останавливая удивленных прохожих… Уже оглядывались на него, одни с удивлением, другие испуганно, никто не подозревал в нем, внешне тщедушном и невзрачном, такой силы голоса.

Напрасно Сидоркин тряс львиной гривой, выкатив глаза, – напрасно вздувались жилы столбовой шеи над расстегнутым воротом голубой рубахи, халат широко распахнулся до пояса, открыв побитый молью пуловер – молодой, трубный, нарождающийся глас мчался наперерез и рассекал его густой расползающийся бас надвое; Спиркину казалось: еще немного напрячься и Сидоркин будет посрамлен, в груди играло торжество. Весь удивленный и потрясенный хор словно отступил куда-то на второй план.

– Ма-ала-адой! – выдавал Спиркин, сгоряча позабыв обо всех уроках мэтра, оранжевые искры запрыгали перед глазами.

Но в этот момент их творческая дуэль была прервана. Дверь в комнату внезапно с треском распахнулась, и на пороге появился шофер Вася Сухов. Овчинный полушубок его был широко распахнут, так, что мех торчал клоками наружу, зимняя шапка с подвязанными сверху ушами съехала куда-то набок и на затылок, что придавало разбойную лихость коренастой фигуре, глаза блуждали, словно в поисках жертвы.

Песня невольно прекратилась, все повернулись к двери. С секунду Вася стоял на пороге и смотрел на хор, а хор на него, потом, набрав воздух в свою широкую грудь, словно кидаясь из бани в прорубь, гаркнул:

– Мать вашу! Сколько можно доктора ждать? Вызов три раза объявляли, полчаса в машине мерзну, больной повесился, не дождался врача!

– Селектор! – очнулся Спиркин. – Вызов по селектору не расслышали! Увлеклись, запелись! – розовый туман эйфории стремительно рассеивался, и он недоуменно огляделся, ведь только полчаса назад он был категорически против пения!

Поднялась Анфиса Петровна.

– Товарищи, товарищи, тихо, спокойно… какая бригада на вызов?

– Да Сидоркина, тринадцатая… – скривился шофер.

– Доктор Сидоркин, прошу на вызов, – пригласила Анфиса Петровна, – а мы, товарищи, продолжаем репетировать. Петр Иванович…

– Ну что там еще такое, Василий, – недовольно спрашивал уже в холле Сидоркин, застегивая на ходу пальто. Василий сморщился снова, будто проглотил кислое.

– Да не повесился – отравление.

– Любишь ты, Василий, эффекты, тебе бы в хоре петь, – покачал головой Сидоркин. – ты же прирожденный артист…

– А видал я ваш хор там за горизонтом, там-тарам-там-там, – ответил Вася.

Минут через пятнадцать Спиркин шел домой. Петр Иванович семенил рядом со своим огромным баянным футляром. Им оказалось, к несчастью, по пути. Петр Иванович очень любил поговорить о медицине, всегда обеспокоенный состоянием собственного здоровья, задавал различные вопросы, и Спиркин отвечал, не всегда внятно, пытаясь отделываться по возможности односложными «да» или «нет». Он устал. Они шли вдоль шеренги пятиэтажек, однообразных и скучных, как бред параноика, бесконечно повторяющего одну и ту же бессмысленную фразу.

Худрук вытащил смятую бумажку и, показывая Спиркину, озабоченно спросил: «Вот мне врач выписал рецепт, скажите, а это для жизни не опасно?»

– Это ж обычное средство от простуды, с чего вы взяли? Врач-то, наверное, вам объяснил?

– А я ему не верю.

– Почему же? – удивился Спиркин.

– Вы знаете, – сказал вдруг Петр Иванович, – я человек простой, вы на меня не обижайтесь, но я честно скажу, что все врачи – убийцы!

– Как так? – опешил Спиркин, – с чего вы взяли?

– Убийцы, убийцы, – твердил Петруша, – не переубеждайте меня, я много случаев знаю, все убийцы!

Спиркин посмотрел на него: Петрушина челюсть тряслась, глаза стали еще более пустыми и смотрели куда-то в точку. «А ведь он настоящий алкоголик, – подумал Спиркин равнодушно. – Такому и по морде-то дать как-то не по-гиппократовски».

– Дальше мы разойдемся, – сказал он.

– Да-да, мне как раз сворачивать, до свиданья.

– Будьте здоровы, – сказал Спиркин.

Когда он подходил к дому, шел тихий снег, уже покрывший землю напротив подъезда нетронутым следами слоем. И вдохнув холодную свежесть он вспомнил, что сегодня Воскресенье.

Афронт

Днем вызовы поступали реже обычного и иногда удавалось даже немного передохнуть. Валентин Романцев с наслаждением растянулся на топчане во врачебной комнате, раскрыв туристский альманах «Ветер странствий». Летом он собирался принять участие в большом походе по горам далекого Таджикистана. И его заинтересовала статья с описание техники переправ через горные речки. Однако, только он погрузился в чтение статьи, как по селектору объявили на вызов его бригаду. Он быстро встал, как только встают солдаты и альпинисты, и с сожалением отложил альманах.

В диспетчерской дежурил маленький лысый Кангун, к лицу которого будто навсегда приклеилась какая-то по-детски восторженная улыбка. У телефона – фельдшер Маша Трошина, блондинка с несколько простоватым, но прекрасным своей открытостью лицом. Увидев Романцева, она отвела глаза и слегка порозовела.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.